



А. СЕДЫХ

И. А. Бунин

(Из книги «Далекие, близкие»)
<фрагменты>

9 ноября 1933 года И. А. Бунин сидел на дневном сеансе в кинематографе Грасса. Шла какая-то «веселая глупость» под названием «Бэби», и Бунин смотрел с особенным удовольствием — играла хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Вдруг в темноте загорелся луч ручного фонарика. Л. Ф. Зуров тронул писателя за плечо и сказал:

— Телефон из Стокгольма. Вера Николаевна очень волнуется и просит поскорее прийти домой.

Первое, что подумал Бунин: жаль, так и не узнаю, что стало с Кисой в конце фильма. Отправились домой. По дороге Бунин начал расспрашивать, что, собственно, сказали.

— Непонятное что-то. Премия Нобеля... Ваш муж...

— А дальше?

— А дальше не разобрали.

— Не может быть. Вероятно, еще какое-нибудь слово было. Например, не вышло, очень сожалею...

Так сразу оборвалась его прежняя жизнь: Бунин получил Нобелевскую премию по литературе.

Примерно час спустя я вызывал Ивана Алексеевича по телефону из Парижа. Соединение было плохое, голос звучал глухо, и отвечал он на вопросы как-то неохотно, казался растерянным. А через три дня, приехав в Париж, Иван Алексеевич рассказывал мне уже с юмором, как нахлынули в этот вечер в его «Бельведер» журналисты и фотографы, как вспыхивал и ослеплял магний и как потом газеты всего мира обошла фотография «какого-то бледного безумца». И еще признался, что в доме в этот вечер не было денег и нельзя было даже дать на чай мальчикам, приносившим поздравительные телеграммы.

Позже, при всякой встрече, мы вспоминали сумасшедшие дни, последовавшие за присуждением премии. Я стал на время секретарем Бунина, принимал посетителей, отвечал на письма, давал за Бунина автографы на книгах, устраивал интервью. Приезжал я из дому в отель «Мажестик», где остановился Бунин, рано утром и оставался там до поздней ночи. К концу дня, выпроводив последнего посетителя, мы усаживались в кресла в полном изнеможении и молча смотрели друг на друга. В один из таких вечеров Иван Алексеевич вдруг сказал:

- Милый, простите, Бога ради...
- За что, Иван Алексеевич?
- За то, что я существую.

С утра надо было разбирать почту. Письма приходили буквально со всех концов мира. Было, конечно, немало странных посланий и просьб о помощи. Сумасшедшая из Дании написала открытку:

«Ради Спасителя, соединяйтесь с Римом! Спасем мир!»

Другое письмо вызвало у нас много веселья. Какой-то матрос просил в спешном порядке прислать ему 50 франков и, чтобы расположить к себе лауреата, писал:

«Я уверен, что Бог поможет Вам. Если пришлете мне эти 50 франков, то и на будущий год, наверно, получите премию Нобеля!»

Идея эта так понравилась Ивану Алексеевичу, что 50 франков матросу послали. На деньги были и другие претенденты, действовавшие не таким прямым путем. Через несколько дней в «Ну-вель литерэр» появилась довольно ехидная заметка: Бунин, дескать, проявил исключительное благородство и решил разделить свою премию с другим большим русским писателем, Д. С. Мережковским.

Вырезку эту я показал Бунину, вызвав у него нечто вроде легкого апоплексического удара:

- С какой стати? Ни за что!

Все же я спросил, откуда пошел слух о разделе. И Бунин рассказал, что к нему явился как-то Мережковский и сделал странное предложение: составить у нотариуса договор на случай получения одним из них Нобелевской премии. Тот, кому премию присудят, заплатит другому 200 000 франков.

— Я, конечно, наотрез отказался. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Да и не нужно мне денег Мережковского!

Все же было решено, что лауреат отправится с визитом к Мережковскому. На следующее утро Иван Алексеевич рассказал мне подробности:

— Пошел... (тут я выпускаю три крепких слова). Подхожу к дому — нет мужества войти. Ведь я знаю, как Мережковский и Зина всю жизнь меня ненавидели. А ведь они люди страшные: еще могут на меня какую-нибудь хворь наслать со всей их чертовщиной... Полчаса вокруг дома ходил на ветру. Наконец позвонил. Встретила меня Гиппиус. Лорнетка, прищуренные глаза, голос капризной кокотки:

«Что это вы, Иван Алексеевич, снизошли к нам с ваших олимпийских высот?»

А я сдерживаюсь и так спокойно говорю:

«Никаких высот, Зинаида Николаевна, нет. Просто пришел вас и Дмитрия Сергеевича проведать».

Но она продолжала в том же тоне, пока я не попросил ее перестать. Тут вышел Мережковский, сунул на ходу руку и шмыгнул в угол, мрачнее тучи... Еле высидел положенные 30 минут и ушел. Выходит так, что я виноват: почему дали Нобелевскую премию мне, а не Мережковскому?

И с внезапным ожесточением:

— Больше никогда в этом доме ноги моей не будет!

Несколько дней спустя зашел Б. К. Зайцев. Бунин и ему рассказал о своем визите к Мережковским. Борис Константинович — узкое византийское лицо, тонкие, бескровные губы — не улыбался:

— Мережковский у меня был. Вошел в комнату, оглянулся и, глухим голосом из подземелья, сказал: «Вам хорошо. Вы уже на дне. А мы только опускаемся!»

Н. А. Тэффи пустила по городу остроту:

— Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации: «Объединения людей, обиженных И. А. Буниным».

Обижены были главным образом «братья-писатели» на распределение сумм из пожертвованных на это Буниным 100 000 франков. Распределением денег ведал специальный комитет, в котором Бунин не принимал участия.

Не все были на Бунина обижены и не все ему завидовали. Его чествовали в Театре Елисейских полей, где В. А. Маклаков говорил, что Бунин «сслужил какую-то службу России». Чествовали на обедах, чествовали в «Мажестике», куда все время приезжали делегации с поздравительными адресами. Были и непрошенные посетители, о которых рассказал И. А. Бунин в своем предисловии к моей книге рассказов «Звездочеты с Босфора». «Секретарь столько давал за меня, замученного, бесед со всякими иностран-

ными газетчиками, так решительно расправлялся с грудями писем, что я получал от несметных поздравителей и просителей, так ловко и спокойно выставлял за порог всяких “стрелков”, осаждавших меня в “Мажестике”! В те часы, когда он отсутствовал, я часто сидел, запершись на замок, и недаром: бывали “стрелки”, обладавшие удивительным нахрапом, анекдотическим бесстыдством. Однажды сидел я вот так, под замком, не отвечая на стуки в дверь. Раздается, наконец, стук настолько крепкий, требовательный, что я подхожу к двери:

— Кто там?

— Отворите, господин Бунин, — отвечает грубый, простонародный бас. — Нам нужен личный разговор по очень важному делу.

— Кому нам?

— Мне и моим товарищам.

— Я нездоров, никого не принимаю, должен лежать в постели.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да в чем дело?

— Дело в русской национальной ценности, которую вы обязаны по своему положению лауреата приобрести, чтобы она не попала в руки кремлевских палачей.

— Что за ценность?

— Топор императора Петра Великого. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати.

— Вы, кажется, не в своем уме. Какой такой топор? Очевидно, тот самый, которым Петр прорубил окно в Европу?

— С этим не шутят, господин Бунин! — уже с угрозой, с хамской мрачностью возвышает голос мой собеседник за дверью. — Не имеете права шутить. Это священная национальная ценность. И только ввиду этого уступаем всего за пятьсот франков с ручательством...»

В один из таких дней я вытащил из груды писем поздравление «местоблюстителя» престола великого князя Кирилла Владимировича. Видимо, в глубине души Бунин был польщен.

— Отвечать будете? — спросил исполнительный секретарь.

— Государь должен быть милостив, — ответил Бунин. — Он меня простит, если сразу не отвечу.

Все же дня через три Иван Алексеевич сам сходил в магазин и купил бумагу большого, министерского формата. Особенные конверты. Сел за стол и начал старательно писать: «Ваше Императорское Высочество...»

Закончив письмо, прочел мне.

— Ну, как?

— Знаете, Иван Алексеевич, слишком уж верноподданнически получается. Хорошо бы смягчить.

Сухо:

— Да. Да. Вы правы, конечно. Он такого письма и не заслужил. Он ведь... Николай Николаевич, тот был человек. Пошлю телеграмму, менее обязывает. Нет, право, это не великий князь, а...

Через день:

— Послали телеграмму, Иван Алексеевич?

— Письмо все-таки отправил... Ей-Богу, смягчил выражения!

Отъезд в Стокгольм был назначен на 3 декабря, но предстояло еще решить один важный вопрос: кто же будет сопровождать лауреата? Долго обсуждали, колебались. В конце концов поехали: Бунин с Верой Николаевной, Г. Н. Кузнецова и я в качестве личного секретаря и корреспондента «Последних новостей» и «Нувель литтерэр».

...И вот мы уже в «голубом поезде». За зеркальным окном ночь, мрак, огни далеких, убегающих куда-то городов. Радует глаз белоснежное постельное белье, красное полированное и слегка потрескивающее на ходу дерево купе и та особенная ловкость, с которой прилажена каждая вещь в международном вагоне. Ничего на свете Бунин не любил так, как дорогу, эти спальные вагоны, мерный, укачивающий бег поезда вдаль. В эту ночь он почти не спал: все время выходил на площадку, курил, всматривался в темноту ночи, в заснеженные поля, в темные сосны, мелькавшие вдоль полотна... Потом возвращался в купе и с тревогой спрашивал:

— Что, вас знобит? Милый, только не болейте...

Позже, уже вернувшись в Париж, он изумительно рассказывал моей жене эту ночь, как боялся, что я захвораю в дороге, и изображал меня, лежащего на постели и «шевелиющего пальцами ног»... Поздно ночью пришли немецкие пограничники, конфисковали французские газеты, но, увидев портрет Бунина на первой странице «Нувель литтерэр», почтительно козырнули и ушли, не осматривая багажа.

Бунин сказал им вслед на странной помеси французского и немецкого:

— *Se gut.*

Об этой поездке через гитлеровскую Германию 33-го года теперь тяжело вспоминать. В Гамбурге, где мы провели день, «герр обер» в ресторане отвел гостям почетный столик, на котором сто-

ял флажок со свастикой. Ударники, в коричневой форме, в галифе и в сапогах, сновали по скучным гамбургским улицам. На углу, неподалеку от вокзала, мы увидели человека в приличном черном пальто с барашковым воротником. На носу у него дрожало золотое пенсне. Человек этот предлагал прохожим жалкие букеты хризантем. Он, видимо, еще не привык к своему новому ремеслу.

— Вы — еврей? — спросил я его.

Продавец хризантем вздрогнул и молча кивнул головой.

Потом мы ехали через Пруссию, покрытую тонким снежным покровом. Вдоль железнодорожного полотна стояли дети и протягивали руки в гитлеровском салюте.

Ночью, уже на шведском пароме, другой мир и другие люди. Мы ужинали, пили «аквавит» и ели бесчисленные шведские закуски, и, когда подали счет, Иван Алексеевич вздохнул и покорно сказал:

— Жизнь хороша, но очень дорога...

Журналисты встретили Бунина на пограничной станции. Посыпались вопросы, Иван Алексеевич скоро устал, забился в купе, и представители шведских газет занялись своим разговорчивым русским коллегой. Интересовало их, кто представит Бунина королю? По традиции, это делает посол той страны, откуда родом лауреат. Но посол был советский — Коллонтай, — я и сказал по адресу этой дипломатки что-то очень нелюбезное. В утренних стокгольмских газетах это превратилось в своего рода политическую сенсацию, и Коллонтай заявила, что она на торжество раздачи премий вообще не явится. Должно быть, этот невольный вызванный инцидент еще более усилил симпатии шведов к Бунину.

В Стокгольм приехали на рассвете. Толпа на вокзальном перроне, «юпитеры» кинооператоров, поднос с хлебом-солью и букеты цветов на руках В. Н. Буниной и Г. Н. Кузнецовой... Через час мы были уже в особняке Г. Л. Нобеля. В окне — канал с темной, свинцовой водой, тяжелая громада королевского дворца и хлопья мокрого, быстро тающего снега.

Бунин стоит у окна и смотрит на набережную. Часы показывают 9. Северный день только начинается, и газовые фонари у дворца еще не потушены, но небо на Востоке светлеет, и уже видно, как плывут по каналу крупные льдины.

— Хорошо бы поехать куда-нибудь за город, побродить по снегу, потом зайти в шведский кабачок и выпить стакан горячего пуншу... Что у нас сегодня? Какая программа?

— В 11 часов утра визит в Академию. В час дня завтрак у чехословацкого посланника. В 4.30 чай во французском посольстве. В 10 ужин св. Люции, который устраивает в вашу честь редакция «Стокгольм Тиндинген». Кажется, это все.

Иван Алексеевич вздыхает и покорно начинает одеваться. Ни сегодня, ни завтра, ни разу до своего отъезда из Стокгольма он не сможет отправиться за город и побродить по свежему, скрипучему снегу, который напоминает ему Россию.

Стук в дверь:

— Герр доктор Седых, вот утренние газеты и почта!

«Доктор» принимается прежде всего за письма. Шведский издатель сообщает, что выпущено новое собрание Бунина в шести томах. Какой-то лесничий, живущий чуть ли не за полярным кругом, на невероятном французском языке просит у Бунина автограф. Приглашение на обед. Три коробки с пилюлями от простуды и просьбой дать похвальный отзыв... Принимаемся за газеты. Большие, кричащие заголовки: «Бунину заказаны 200 книг».

Бунин хватается за голову.

— Милый, кто же им это сказал? А фотография, посмотрите на фотографию: опять это громадное, испуганное, бледное лицо.

— Ничего не испуганное. Лицо римлянина периода упадка Империи.

Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но и из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило Ивану Алексеевичу выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин на двигал на глаза барашковую шапку и ворчал:

— Что такое? Совершенный успех тенора.

Должен сказать, что успех Буниных в Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровать, и держал себя с большим достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с большой и естественной привлекательностью. Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин.

Но это имело и обратную сторону медали. Программа чествования писателя разрослась необычайно. Приемы следовали один за другим, и были дни, когда с одного обеда приходилось ехать на другой. Особенно запомнился вечер св. Люции. Когда Бунин вошел в зал под звуки туша, множество людей поднялись с мест и разразились бурей аплодисментов. Бунин двинулся вперед, по

проходу, — овадия ширилась, росла. Он остановился и начал кланяться ставшими знаменитыми в Стокгольме «бунинскими» поклонами. Потом выпрямился, поднял руки, приветствуя гремевший, восторженный зал. А навстречу к нему уже шла святая Люция, разгоняющая мрак северной ночи, белокурая красавица с короной из зажженных семи свечей на голове. Дети в белых хитонах несли впереди трогательные бумажные звезды, и оркестр играл «Санта Лючию»...

Как-то совсем незаметно наступил и день торжества вручения Нобелевской премии, происходящего каждый год 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

В Концертный зал надо было приехать не позже 4 часов 50 минут дня, — шведы никогда не опаздывают, но и слишком рано приезжать тоже не полагается. Помню, как мы поднимались по монументальной лестнице при красноватом, неровном свете дымных факелов, зажженных на перроне. Зал в это время был уже переполнен — мужчины во фраках, при орденах, дамы в вечерних туалетах... За несколько минут до начала церемонии на эстраде, убранной цветами и задрапированной флагами, заняли места члены Шведской академии. По другой стороне эстрады стояли четыре кресла, заготовленные для лауреатов. Ровно в пять с хоров грянули фанфары, и церемониймейстер, ударив жезлом о пол, провозгласил:

— Его Величество, король!

В зал вошел ныне покойный Густав V — необыкновенно высокий, худощавый, элегантный. За ним шли попарно члены королевской семьи, двор. Снова зазвучали фанфары — на этот раз для лауреатов. Бунин вошел последний, какой-то особенно бледный, медлительный и торжественный. У меня сохранился текст его речи — он работал над ней много часов, переделывал ее, взвешивал каждое слово. Полагалось сказать комплимент королю, поблагодарить Академию, а Бунин хотел сказать нечто большее: подчеркнуть, что Нобелевская премия была присуждена писателю-изгнаннику как знак совершенной независимости, как символ уважения свободы совести и свободы мысли. Это был, в известной степени, и акт политический. Со времени Полтавы и Петра Великого в Швеции недолго любили все русское; никогда до Бунина Нобелевская премия не была присуждена русскому писателю — не присудили ее Толстому, который премии не хотел, ни Горькому, кандидатуру которого тщетно выставляли. Между советским писателем Горьким и свободным эмигрантским писателем Буниным Шведская академия выбрала последнего, — и не потому только, что Бунин-художник стоит неизмеримо выше

Горького. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы. В 33 году Шведская академия дала Нобелевскую премию изгнаннику Бунину точно так же, как четверть века спустя она дала ее другому русскому писателю, сохранившему свободу, внутреннему эмигранту Борису Пастернаку.

Помню поклон Бунина, преисполненный великолепия, рукопожатие короля и красную сафьяновую папку, которую Густав V вручил Ивану Алексеевичу вместе с золотой нобелевской медалью... Дальше произошел комический эпизод. После церемонии Бунин передал мне медаль, которую я тотчас же уронил и которая покатила через всю сцену, и сафьяновую папку. Была давка, какие-то люди пожимали руки, здоровались, я положил папку на стол и потом забыл о ней, пока Иван Алексеевич не спросил:

- А что вы сделали с чеком, дорогой мой?
- С каким чеком? — невинно спросил я.
- Да с этой самой премией? Чек, что лежит в папке.

Тут только понял я, в чем дело... Но папка по-прежнему лежала на столе, где я ее легкомысленно оставил, — никто к ней не прикоснулся, и чек был на месте... Сколько мы потом смеялись, вспоминая этот эпизод, и с каким неподражаемым видом Иван Алексеевич вздыхал:

- И послал же мне Господь секретаря!

Был банкет в Академии, парадный обед в честь нобелевских лауреатов в королевском дворце, еще какие-то нескончаемые приемы. Последний день в Стокгольме Бунин провел в обществе нескольких русских и французских журналистов, — помню И. М. Троицкого и Серж де Шессена. Осматривали мы все вместе город, любовались быстро замерзающими каналами, новой ратушей, чем-то напоминающей дворец венецианских дождей. В полдень, усталые и озябшие, спустились мы в погребок «Золотой мир», где когда-то распевал свои баллады шведский национальный поэт Бельман и где до сих пор собираются любители вина и хорошей кухни.

В большом камине пылали березовые дрова, но с морозу захотелось «внутреннего огня». Бунин заказал для всех янтарной шведской водки. Прислуживающая «фрекен» смутилась, взглянула на часы и ушла о чем-то шептаться с хозяином. Прошло минут пять. Водки не подавали.

- В чем дело?

— Господин Бунин, мы очень польщены вашим визитом. Это — большая честь для «Золотого мира». Но подать вам спирт-

ное мы не можем. Сегодня воскресенье. Церковная служба кончается только в час дня. После службы — сколько угодно!

Я не помню, что именно было подано нам в граненых бокалах, но задолго до окончания службы в стокгольмских церквях за столом нашим раздавались взрывы смеха и Иван Алексеевич говорил:

— Помните, господа, старый русский присказ:

Вода для рыбы, раков,
Вино для женщин и мужчин,
А мы, герои, водку пьем!

И потом, когда мы выходили, Бунин вдруг процитировал «пашаляпински» слова из «Фауста»:

— ...И все-таки мне кажется, что я пил вино!

Из Швеции в Германию плыли на немецком пароходе. Зашли в ресторан — в последний раз отведать прославленные шведские закуски.

«Герр обер» поднес нам унылое немецкое меню: суп с картофелем, сосиски с картофелем, шницель с картофелем.

— А угря копченого у вас нет?

— Нет.

— А сельди маринованной, королевской?

— Нет.

Бунин внезапно оживился:

— Это, знаете, как в разоряющемся, захудалом дворянском доме. Подходит дворецкий, этакий старичок с растопыренными пальцами в заштопанных нитяных перчатках. Кричит тугому на ухо гостю:

— Вам супу или ухи-с?

— Ухи, пожалуйста.

— Ухи нет-с!

«Ухи» на немецком пароходе мы не получили. Но Бунин так мастерски изображал старичка дворецкого, что мы вполне утешились. Вообще, когда Иван Алексеевич бывал в ударе, рассказывал и изображал он великолепно, как настоящий актер, — недаром Станиславский уговаривал его в свое время поступить в Художественный театр.

Берлин встретил нас сыростью, туманом, слякотью. По вокзальному перрону металась какие-то люди с цветами и фотографическими аппаратами. Пронзительный женский голос кричал:

— Вот он! Вот Бунин!

Какой-то господин в котелке завладел рукой Ивана Алексеевича и начал заранее заготовленную речь:

— От имени 22 объединенных русских организаций позвольте приветствовать вас, дорогой Иван Алексеевич...

В глазах Бунина на мгновенье мелькнуло разочарование: нет, ему, видно, не суждено сегодня пообедать в кругу семьи и пораньше лечь спать. И уже бодрым, привычным «лауреатовским», тоном Иван Алексеевич ответил:

— Покорнейше вас благодарю, господа... Очень тронут, чрезвычайно признателен вам за внимание...

<...> Годы, предшествовавшие получению Нобелевской премии, были, вероятно, самыми продуктивными в жизни Бунина. Человек, беспокойный по натуре, в молодости вечный странник, всегда куда-то ехавший, иногда без какой-либо видимой причины, он в эмиграции поневоле стал домоседом, делил свое время между Парижем и Грассом. В Париже работать было трудно — мешал звонок у дверей, посетители, заходившие «на часок», вечные приглашения. Зато в Грассе, в «Бельведере», В. Н. Бунина создала для мужа условия, подходящие для работы. С ними постоянно жили Г. Н. Кузнецова, которую очень любил Иван Алексеевич, и писатель Л. Ф. Зуров. Иногда приезжали гости из Парижа или из соседней Ниццы — самым близким и желанным из них был М. А. Алданов.

Бунин любил Грасс. Только здесь дышал он полной грудью. Любовался морем, вечно меняющимися его красками, голубыми склонами Приморских Альп и лесами Эстереля. Работал он на юге «запойно». Здесь написал он «Митину любовь» — одно из самых лирических произведений в русской литературе. Здесь была написана «Жизнь Арсеньева», и позже Бунин очень огорчился, когда эту вещь называли «автобиографической». В ней действительно есть многое из жизни молодого Бунина в Ельце и в Полтаве, но Лика была выдумана от начала до конца, и та женщина, которую Бунин написал в образе Лики, фактически была очень мало похожа на мятущуюся, сумбурную Варвару Пащенко, в которую Бунин был влюблен в юности*.

Чем больше я присматривался к Бунину, тем яснее видел, что его плохо знают. Много раз слышал я такой отзыв:

— Какой холодный, ледяной писатель!

Так говорили те, кто совершенно не чувствовали Бунина и не понимали его произведений, в которых всегда есть глубокая, вол-

* Из письма ко мне В. Н. Буниной от 15 апреля 1957 г.: «...Есть заметка Ивана Алексеевича: “Лика вся выдумана”. Воскресла не Лика, а любовь молодого Бунина, сила, страсть чувства его. Я нахожу, что в Лике — все женщины, которых он любил».

нующую страстность. За внешней, величавой спокойностью формы, за мудрой скупостью слов легко открыть все нарастающее чувство, юную радость жизни или тревогу обреченности. Таков был Бунин в жизни, — вечно мятущийся, беспокойный. Он мог усилием воли внезапно совладеть с собой, побороть душевную тревогу и казаться холодным, далеким, учтиво безразличным. И только немногие знали, какой это давалось ему ценой и что именно происходило в душе писателя в минуты этого деланного, внешнего спокойствия.

В нем была какая-то неподдельная стыдливость, — Бунин не любил показывать на людях свою обнаженную душу. Пошлость презирал он во всех ее проявлениях и задыхался от гнева, когда слышал по своему адресу плоские комплименты. Но не страдал он и самоуничижением и как-то, уже после получения Нобелевской премии, с немного иронической важностью сказал мне:

— Что же, и я не последний писатель земли русской.

Когда позже мы вернулись к этой теме, Бунин уже совсем серьезно и твердо объяснил:

— Я человек самолюбивый. Не люблю срамиться. Держу свечку перед грудью.

Начинал он работать рано, часов в девять, и писал без остановки до завтрака, т. е. до часу дня, и в это время никто его не беспокоил. В жаркие, знойные дни, какие часто бывают летом на Ривьере, раздевшись догола, Бунин писал о ранней московской весне, о капельках, падающих с крыш, о ледяных сосульках, со звоном разбивающихся на тротуарах... Меня всегда поражала эта его способность перевоплощаться, забыть обо всем окружающем, писать о далекой России так, будто он видит ее перед своими глазами. Но Бунин — это и есть Россия, которую отделить от него нельзя. Он был связан с ней крепкими, почти физическими узами, словно ни на один день не переставал дышать ее прозрачным, морозным воздухом.

Как-то он мне сказал:

— Россию, наше русское естество, мы унесли с собой, и где бы мы ни были, мы не можем не чувствовать ее.

Таков был секрет Бунина. Ему не надо было жить в России, чтобы писать о ней, — так и Гоголь мог работать над «Мертвыми душами» в Риме, на вилле княгини Волконской. Россия жила в нем, он был — Россия.

В послеполуденные часы обитатели виллы «Бельведер» отдыхали, а когда спадала жара, отправлялись на прогулку или сидели за чаем. Иногда Иван Алексеевич читал что-нибудь вслух. По

вечерам и в особенности ночью он никогда не писал. Читал много, делая на полях книги свои замечания, иногда довольно резкие. В выражениях он, вообще, никогда не стеснялся. Будущему издателю писем Бунина придется немало слов в них заменить многоточиями. Вот один случай, связанный с любовью Бунина к крепкому слову.

Ехали мы как-то ночью в такси. В те годы множество шоферов такси в Париже были русские. Узнать их можно было сразу по акценту, по тому, как сосредоточенно сидели они за рулем, держась за него двумя руками, даже по крепким, каким-то особенно русским затылкам. Но вот на этот раз мы не узнали — дали адрес, и шофер повез по темным улочкам, дальней дорогой, и Бунин вдруг начал ругаться сочными, отборными словами. Шофер обернулся к нам добродушно, словно вся эта ругань к нему не относилась, сказал:

— А вы, господин, должно быть из моряков? Ловко выражаетесь.

— Я не моряк, — как-то строго и скороговоркой ответил Бунин. — Я — почетный академик по разряду изящной словесности.

Тут шофер просто покатился со смеху и долго потом еще не мог успокоиться:

— Академик!.. Да... Действительно, изящная словесность!

Ему и в голову не пришло, что везет он действительно почетного члена Российской академии по разряду изящной словесности, а не моряка с военного корабля. <...>

